

Стефан Цвейг

Летняя новелла

Летняя новелла

Август прошлого лета я провел в Каденаббии, одном из маленьких местечек на берегу озера Комо, которые так очаровательно скрываются между белыми виллами и темным лесом. Тихий даже в более оживленные весенние дни, когда на узком пляже толпятся туристы из Белладжио и Менаджио, в эти теплые недели городок представлял благоухающую пустыню, залитую солнцем. Гостиница была почти необитаема: несколько случайных гостей, возбуждавших друг в друге взаимное недоумение выбором такого глухого местечка для летнего отдыха, каждое утро сами удивлялись своей стойкости. Больше всего изумляла меня стойкость одного пожилого господина, очень представительной и элегантной наружности, который по внешнему виду представлял собою нечто среднее между корректным английским парламентарием и парижским фланером. Он не предавался ни одному из видов водного спорта и проводил целые дни, задумчиво следя за дымом своей папиросы или перелистывая книгу. Тягостное одиночество двух

дождливых дней и его приветливость быстро сообщили нашему знакомству сердечность, которая почти совершенно стерла разницу в возрасте. Лифляндец по рождению, получивший воспитание во Франции, а затем в Англии, без профессии, без постоянного места жительства, он был человеком, лишенным родины, в благородном смысле этого слова, и принадлежал к числу викингов, пиратов красоты, которые разбойничьими налетами присваивают себе драгоценности всех городов. Как дилетант, он стоял близко ко всем искусствам, но сильнее любви к ним было аристократическое презрение, которое он проявлял в служении им: он был обязан им лучшими часами своей жизни, но не посвятил им ни одного часа творческих мук. Его жизнь была одной из тех, которые кажутся лишними, потому что не скованы цепями общности: все их богатство, накопленное тысячами драгоценных переживаний, исчезает, не оставляя следа, с их последним вздохом.

Об этом я говорил ему однажды, когда мы сидели после обеда перед гостиницей и смотрели, как светлое озеро медленно покрывается тенью. Он улыбнулся:

— Может быть, вы и правы. Я не верю в воспоминания; пережитое умирает в то мгновение, когда оно покидает нас. А поэзия? Разве ее сокровища не погибают через двадцать, пятьдесят,

сто лет? Но я расскажу вам нечто, что могло бы послужить прекрасным сюжетом для новеллы. Пройдемся! О таких вещах легче говорить на ходу.

Мы направились к пляжу по чудесной дороге, затененной вечными кипарисами и густыми каштанами, сквозь ветви которых беспокойно блестело озеро. На другом берегу, подобно белому облаку, лежало Белладжио, мягко озаренное быстро меняющимися красками закатного солнца, и высоко-высоко над темным холмом пылала в алмазах лучей каменная корона виллы Сербеллони. Воздух был слегка душный, но не тяжелый; как нежная рука женщины, он мягко спускался на тени и наполнял дыхание запахом невидимых цветов. Он начал:

— Прежде всего — одно признание. До сих пор я не говорил вам, что я уже был здесь, в Каденаббии, в прошлом году, в это же время года и в той же гостинице. Это должно вас удивить, тем более что, как я уже говорил вам, я избегаю в своей жизни всяких повторений. Но слушайте! Здесь было, конечно, так же пустынно, как и сейчас. Был тот же господин из Милана; он целый день ловил рыбу, чтобы вечером выпустить ее и снова поймать на следующее утро. Были две старые англичанки, тихое, растительное существование которых было малозаметно. Затем — красивый молодой человек с миленькой бледной девушкой; я до сих пор думаю,

что она не была его женой: они казались слишком влюбленными друг в друга. И наконец, одна немецкая, северонемецкая семья самого строгого типа. Пожилая сухопарая белокурая дама, с угловатыми, некрасивыми движениями, с колючими стальными глазами и словно ножом вырезанным сварливым ртом. С ней была сестра — несомненно, сестра — с теми же чертами, только более расплывчатыми, смягченными. Всегда они были вместе, но никогда не разговаривали между собой: сидели, молча склонившись над вышиванием, в которое, казалось, вплетали всю свою бездумность, — неумолимые парки мира скуки и ограниченности. И между ними молодая, шестнадцатилетняя девушка, дочь одной из них, не знаю, которой, так как резкость ее незаконченных линий уже уступала легкой женственной округленности. Она была, в сущности, некрасива — слишком тонка, незрела и, конечно, безвкусно одета, но было что-то трогательное в ее беспомощном томлении. Ее большие глаза сияли темным блеском, но все время смущенно убегали, раздробляя его в мигающих вспышках. Она тоже приходила всегда с работой, но руки ее часто замедлялись, пальцы засыпали, и она тихо сидела, устремив мечтательный, неподвижный взор на другой берег озера. Я не знаю, почему меня так трогало это зрелище. Может быть, это была

банальная и все же неизбежная мысль, на которую наводит вид увядшей матери рядом с цветущей дочерью, — вид тени за живым человеком; мысль, что в каждой черте уже кроется морщина, в каждой улыбке — усталость, в каждой мечте — разочарование? Или это было бурное, только что вспыхнувшее, бесцельное томление, неповторимая, чудесная минута в жизни девушки, когда она жадно простирает взор ко всему, потому что не владеет еще тем одним, к чему она впоследствии прилепится, будет цепляться в ленивом гниении, как водоросль к плавучему лесу? Мне казалось чрезвычайно заманчивым наблюдать за ней — за ее мечтательным, влажным взором, за бурными ласками, которые она расточала каждой собаке, каждой кошке, за беспокойством, с которым она все начинала и ничего не доводила до конца. И потом — эта пылкая поспешность, с которой она по вечерам глотала несколько жалких книжонок из библиотеки отеля или перелистывала два привезенных с собою зачитанных тома стихотворений Гете и Баумбаха... Но почему вы улыбаетесь?

Я должен был извиниться:

— Это странное сочетание — Гете и Баумбах.

— Ах, вот что! Конечно, это забавно. Но поверьте, молодым девушкам в этом возрасте все равно, что читать — хорошие или скверные стихи,

подлинную или фальшивую поэзию. Стихи для них — только кубок, из которого они утоляют жажду, они не обращают внимания на вино; хмель бродит в них и без вина. Эта девушка была до краев полна томления; оно блесело в ее глазах, заставляло дрожать кончики ее пальцев за столом и придавало ее походке неловкость и в то же время окрыленность — нечто среднее между полетом и страхом. Видно было, что она жаждала поговорить с кем-нибудь, отдать что-нибудь от своего избытка, но никого не было вокруг: только шелест иголок справа и слева и холодные, осторожные взгляды обеих дам. Бесконечное сострадание охватило меня. И все же я не мог приблизиться к ней. Во-первых, что может дать пожилой человек девушке в такую минуту? И потом, мое отвращение к семейным знакомствам и особенно к знакомству с пожилыми дамами убивало всякую возможность сближения. Тогда мне пришла в голову замечательная мысль. Я подумал: «Молодая девушка наивна, в первый раз попала в Италию, страну, которая, благодаря англичанину Шекспиру, никогда там не бывавшему, слывет краем романтической любви, пылких Ромео, тайных приключений, падающих вееров, сверкающих кинжалов, масок, дуэний и любовных писем. Она, конечно, мечтает о приключениях, и — кто не знает девичьих грез, этих белых, пролетающих облаков, которые

бесцельно плывут по лазури и по вечерам разгораются сначала розовым, потом ярким алым светом! Для нее нет невероятного, невозможного». И я решил найти ей таинственного возлюбленного.

В тот же вечер я написал длинное письмо, нежное, скромное и почтительное, полное таинственных намеков, и без подписи — письмо, ничего не требующее, ничего не обещающее, страстное и в то же время сдержанное — словом, романтическое любовное письмо, точно взятое из поэмы. Зная, что, гонимая своим беспокойством, она каждый день первая является к завтраку, я вложил письмо в ее салфетку. Настало утро. Я наблюдал за ней — из сада, видел ее недоверчивое изумление, ее внезапный испуг и яркую краску, покрывшую бледные щеки и шею; видел ее беспомощные взгляды, ее вздрагивание, воровское движение, которым она спрятала письмо; видел, как нервно она сидела за завтраком, почти не прикасаясь к еде, как убежала куда-то — наверное, в тихую, тенистую аллею расшифровывать таинственное послание... Вы хотите что-то сказать?

Я невольно сделал движение, которое должен был объяснить:

— Я нахожу это очень смелым. Разве вы не подумали, что она могла дознаться или что, проще всего, спросить кельнера, как письмо попало в салфетку? Или показать его матери?